

ДОСТОЕВСКИЙ И ВСЕРОССИЙСКАЯ КАТАСТРОФА

1.

Трудно представить себе что-либо парадоксальнее публицистических статей Достоевского. Они по всей видимости вопиюще противоречат не только «Бесам», но и всему его художественному творчеству, Глухое клокотанье приближающейся катастрофы Достоевский различал не менее явственно, чем Константин Леонтьев, и уже к началу семидесятих годов поспешил, в лице Шатова, творчески разделяться со славянофильскими соблазнами: с русским мужичком-богоносцем и с сильно подгулявшим «русским Богом, едва устоявшим перед крестьянской реформой». Но творческая интуиция Достоевского часто расходилась с его пристрастной и подчас мелочной публицистикой «Дневника писателя». Пропасть, отделявшая Достоевского-творца с его «священной жертвой» от повседневного Достоевского, погруженного «в заботы суетного света», была на много глубже пушкинской. Достоевскому, «дабы он не превозносился чрезвычайностью откровений», дано было жало, ангел сатаны, не только в плоть, как апостолу Павлу, но и в дух, чтобы он никогда не забывал о своем глубочайшем падении и провиденциальном спасении от полной и окончательной гибели. Своего тяжчайшего духовного заболевания, называемого революционностью, он никогда не мог до конца изжить и достичь сердцем совершенного христианского просветления. Недаром оптинские старцы принимали его религиозное рвение с некоторой оговоркой. Они не считали его поздней церковности и веры в соборное начало свободными от чуждых истинному православию гуманитарно-общественных налетов. Творчески, но не житейски, преодоленное Достоевским «славянофильство» сопровождало его, как человека, до самого гроба. Оно было карой за революционное падение, данным ему жалом, бла-

годаря которому он оставался духовно хром, как Иаков. Его «славянофильство», как скверная болезненная отрыжка, постоянно напоминало ему, пережитое им в молодые годы, революционное народничество. Только в творчестве, отдаваясь интуиции, избавлялся Достоевский на время от жала, пронзившего его.

Однако публицистика Достоевского, хотя внешне и носила на себе славянофильский налет, вводящий многих в заблуждение и тем опасный и вредный, но по внутреннему содержанию была очень далека от настоящего народничества, прежде всего потому, что исходил Достоевский в существование от знаменитого положения Гераклита: «все течет!» и от благословенного утверждения Оригена: «материя есть уплотненная грехом духовность». Он наперекор правым и левым народникам принимал за подлинную реальность не быт — косное подобие жизни, — а самое бытие, и не опутанную бытом, покорившуюся или протестующую индивидуальность, социальную особь с ее призрачными революцией добытыми правами, а живую личность, смирившуюся или бунтующую, но неизменно преданную свободному бытию. Пережив в себе злую сущность революции, Достоевский в своем глубочайшем, ибо революционном, падении испытал предел духовного рабства, и, провиденциально спасенный от гибели для особой, единственной миссии, познал первородную свободу, дарованную человеку при сотворении. Эта действительная, реальная свобода, по утверждению Константина Леонтьева, к прискорбию не сознававшего своей близости к Достоевскому, возможна и в цепях. Поздняя публицистика Достоевского под банальным славянофильским налетом, под шаткой, неточной терминологией, скрывала огненную веру в сверхъестественное предназначение России. Не в пример Пушкину, под народом Достоевский разумел не бесчисленную и бессмысленную чернь, всегда готовую к революционному погрому, а некую религиозную элиту, ведомыми путями образовавшуюся Церковь, состоящую преимущественно из простолюдинов, из униженных и оскорбленных. Он личным каторжным опытом убедился, что корни

христианства, пронизав простонародную российскую толщу, навеки укрепились в неисследимой глубине человеческого духа, *по праву* свободной от всех сословных подразделений. Достоевский знал, что близятся неслыханные испытания, что надвигается еще невиданная беда, которая скосит и сравняет вровень с поруганной матерью-землею все любовно возвращенные веками. Но он знал также, что корни, ушедшие в недосягаемую глубину, рано или поздно дадут новые побеги. Он верил в душевные тайники человеческой личности, животворимые неиссякаемым «чудом свободы». Эти ли знание и веру назовем мы народничеством? Только крайне неразборчивое, небрежливое отношение к слову, характерное для второй половины русского девятнадцатого века, позволило нацепить на Достоевского этот серый безличный ярлык.

«Славянофильство» Достоевского было наложенной на него карой, его пореволюционной немощью, и в то же время одним из величайших недоразумений путанного прошлого столетия. Нельзя забывать, что именно к концу семидесятых годов, в разгаре славянофильской полемики, созрел у автора «Братьев Карамазовых» окончательный план написать повесть о великом злодее, о вчерашнем церковном послушнике, убивающем своего императора. Ведь не из благодушных и близоруких помыслов правоверного славянофила возникло у Достоевского такое намерение!

Во всяком случае, неосуществленной повести о послушнике-цареубийце суждено было стать последним, но быстрее всех сбывшемся, пророчеством Достоевского. После произнесенной на пушкинских торжествах знаменитой речи, по существу гениальной, хотя к Пушкину прямого отношения не имевшей, Достоевский умер в январе 1881 года, а в марте того же года убили царя. Его убили народники, особого рода послушники навыворот, революционные отшельники, подпольные русские бесы.

Это сбывшееся пророчество Достоевского в совершенстве уясняет нам, почему так настойчиво, с такою напряженной зоркостью, склонялся он, вслед за Пушкиным, над пробле-

мой отцеубийства и революции-восстания на отцовство во всех его прообразах и ликах, земных и небесных.

Проблема бунта, ведущего к подмене подлинной свободы личным или коллективным своеволием, тревожила Пушкина задолго до Достоевского. Вопреки невежественным измышлениям прогрессивных интеллигентов, французская революция притягивала к себе еще очень юного поэта совсем не сочувственно-политически, а религиозно-эстетически. Вслед за французской революцией, его волнует греческое восстание, декабрьский заговор и мятеж, русское смутное время и пугачевский бунт. Он пишет «Бориса Годунова», «Капитанскую Дочку» и монографию о пугачевских злодеяниях. Мистическая загадка своеволия и духовного бунта — вот что упорно привлекало творческое внимание Пушкина. Борис Годунов, Лжедмитрий, Марина Мнишек, Василий Шуйский, Мазепа и даже Швабрин и Пугачев — вот ряд своевольно утверждающихся исторических персонажей поэта. За ними следуют символы, осуществленные исключительно силою творческого воображения: герой «Цыган» Алеко, Онегин, Дубровский, Герман, Евгений из «Медного Всадника», скупой рыцарь и его сын Альбер, Сальери и наконец, Джон-Жуан — главный центральный у Пушкина образ чистейшего человеческого своеволия, восстания на законы, установленные Отцом Небесным и утвержденные отцами земными.

Бунтом одержимый человек не только подменяет, по Пушкину, истинную свободу своеволием, не только разрушает, восставая на Бога, вековые дела своих отцов, но он самозванно присваивает себе все прерогативы и божественный ореол отцовства. Такой подход Пушкина к мистической сущности бунта и своеволия, уже, как бы сам собою, ставит во всем объеме вопрос о самозванстве, предвосхищая одно из главнейших положений Достоевского: «Если нет Бога, то я бог». Духовный бунт, по Пушкину, ведет человека к самообожествлению, распаляет в нем похоть власти и желание насильственно принудить других признать его за божество, за единственного и незаменимого Отца.

То, что недоступно наяву обычному среднему сознанию,

раскрывается подчас человеку во сне, в символах и образах. Всем, конечно, памятен бездонный, неисчерпаемый по своему пророческому смыслу сон, приснившийся молодому Гриневу, скромному герою «Капитанской Дочки». Каждая фраза, каждое слово в описании этого сна преисполнены у Пушкина безмерного значения. Но мы отметим сейчас лишь одну нужную нам ситуацию. Снится Гриневу: он подходит к постели своего умирающего отца, чтобы получить от него прощальное родительское благословение и поцеловать его руку. Но на постели лежит не отец, а бородатый здоровый мужик и весело поглядывает на Гринева. Целовать его руку Гринева отказывается. Мужик вскакивает с постели, размахивая топором, и комната наполняется мертвыми телами.

Если принять во внимание, что мужик с топором и есть Пугачев, — самозванный царь-отец, руку которого впоследствии, уже при действительной встрече с ним, Гринева не поцелует, то мысли Пушкина о своеволии и бунте и вытекающем из них самозванном отцовстве станут нам особенно ясны. Прежде чем стать самозванным отцом, надо покончить с Богом, и с Отечеством, надо сделаться отцеубийцей в глубочайшем и многообразном значении этого слова.

Достоевскому оставалось только после Пушкина, развивать до конца скорбную мысль о революции, о человеке, поправшем подлинную первородную свободу, предавшем свое Отечество и надругавшемся над собственной Родиной во имя чистейшего произвола.

2.

К семидесятым годам прошлого столетия идеологические пути и перепутья, ведущие Россию к революции, были закончены. Можно только удивляться великому размаху Империи, просуществовавшей по инерции еще целых пятьдесят лет.

И это бесспорно верно. Ведь уже в конце сороковых годов, за двадцать с лишним лет до рокового срока, предстал перед судом молодой Достоевский за участие в подпольном

политическом сообществе, во главе которого стоял Петрашевский.

Весьма туманная идеология декабристов, проявивших себя до того еще за двадцать с лишним лет, кажется детски наивной и невинной по сравнению с идейно-революционным опытом Петрашевского и его единомышленников. Достаточно познакомиться с воспоминаниями Ап. Майкова, близко знавшего молодого Достоевского, чтобы тотчас понять, как далеко успели уйти петрашевцы по пути революции от розовых барственно-романтических мечтаний декабристов. Эти мечты и грезы были именно розовыми, а отнюдь не красными, и ярый проповедник безбожия, фанатик бунта ради бунта — Пестель ничуть не типичен для декабристского движения в целом. Он бледный призрак поистине бесовской одержимости бунтом, столь характерной и для умственно ограниченного Петрашевского, и для юного, но все же гениального, Достоевского. По утверждению Майкова, сто тысяч голов — никак не менее — требовал тогда будущий автор «Бесов» во имя водворения на земле социальной справедливости!

В те дни еще не было слова для точного определения такого рода одержимости. Теперь мы назвали бы ее большевизмом, а человека ей подверженного — большевиком.

Однако, разница между людьми, подобными Петрашевскому и Достоевскому, необъятно велика. Петрашевские принимают большевизм, как результат собственной безбожной гордыни, как окончательный вывод из нее, а Достоевский переживал и изживал свой большевизм провиденциально, он был им временно сражен в порядке Божьего попущения.

Жизнь и судьба Достоевского являют собою подлинное чудо, казалось бы, совершенно невозможного в действительности и даже просто немыслимого духовного преображения. По крайней мере сам он, столь христиански щедрый в своем творчестве, показал нам на примере своего персонажа, истого социалиста и мощенника Петра Верховенского, что не может быть спасения тому, кто вполне сознательно и последовательно не только возводит зло в систему, но и оправдывает его перед собственной, грехом умерщвленной, совестью.

Хват! Глубоко погрязшие в грехе, но зла не оправдавшие, герои Достоевского для вечности не погибают, они еще здесь, в земной жизни, сами над собой произносят смертный приговор, как Свидригайлов и Ставрогин, или, не выдержав тяжести зла, до того свободно ими избранного, лишаются разума, как Иван Карамазов, искупая тем самым, хотя бы частично, свои падения и заблуждения. Один только Петр Верховенский, революционер по призванию и, следовательно, убийца по убеждению, не испытывает ни малейших угрызений совести. Он безнаказанным ускользает за границу и остается в этом мире непокаренным, ибо окончательно утвердившись во зле, выпадает из жизненного процесса, становится евангельской соломой, обреченной на уничтожение в вечности.

Говорить о русской революции, о всероссийской катастрофе, пытаясь постичь ее антирелигиозную сущность, значит говорить о Достоевском, или по крайней мере исходить из его постижений и прозрений. Он пережил революцию в самом себе, как некое злодуховное данное, за много лет до ее исторического осуществления, ныне все еще далеко незаконченного. Он духовно прошел, испытал все ее фазы и, безмерно опередив наш сегодняшний опыт, подошел к самому краю нами неизведанной пропасти, подошел и остановился, удержанный над пропастью Вышнею Волею.

Тут познал Достоевский на себе библейские слова, грозный смысл которых он впоследствии неоднократно раскрывал нам в своих творениях: «Страшно впасть в руки Бога Живого».

И вот началось для него неправдоподобное нагромождение сокрушительных и фантастических событий: внезапный арест, заключение в крепости, стояние у столба с завязанными глазами в ожидании расстрела, неожиданная отмена смертной казни, ссылка на каторгу, солдатчина в Сибири, первая женитьба, преисполненная мучительных потрясений, чудесное возвращение в Петербург, снова литературный успех, на этот раз заслуженный, бегство за границу от долгов, возвращение на родину, писательская слава, неслыханный

триумф публичного выступления на пушкинских торжествах и безвременная смерть с недосказанными, быть может, самыми важными для России и мира словами на застывших устах.

По замечательной мысли Вячеслава Иванова, страшное стояние у смертного столба породило в Достоевском нового духовного человека, а пеленами для новорожденного послужила каторга. В бессонные блошиные ночи, среди каторжных кошмаров, тяжких дум и дрем, рос и созревал этот новый творческий человек. Что по возмужании своем мог он поведать нам?

С будущим автором «Бесов» произошло то, что ранее случилось с Пушкиным: шестикрылый серафим, ниспосланный с неба, коснулся и его, и Достоевский мог бы сказать о себе словами поэта:

И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.

.
И Бога глас ко мне воззвал:
Встань, пророк, и виждь и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Но несть пророка в своем отечестве и чужой опыт никому не указка. И никогда еще никто не посчитался с предсказанием, не вкусив предварительно от запретного плода. Трагический парадокс любого пророчества в том и заключается, что предугадывая мировые потрясения иногда за столетия, оно становится внятным для нас лишь после того, как сбывается. Тогда вспоминаем мы о пророчестве, и оно помогает нам прояснить до конца внутренний смысл осуществившегося крушения.

«Меня зовут психологом. Неправда! Я писатель высших реальностей», — заносит Достоевский в свою записную книжку. Иначе говоря, он в совершенстве сознавал великую разницу между душою и духом, душевным и духовным или, следуя слову Апостола Павла, между Психеей и Пневмой, психическим и пневматологическим. Только люди позитивного 19-го века могли назвать Достоевского психологом. И это в то самое время, когда так уничтожающе высмеивал он в «Преступлении и Наказании», и особенно в «Братьях Карамазовых», в лице Митиных адвоката и прокурора, всякую психологию вообще, не щадя мимоходом, в лице Зосимова, врачующего Раскольникова, наивных попыток психиатрии свести тайну бунтующего человеческого духа к упрощенной форме душевного заболевания.

Для Достоевского психологию опрокидывает живая психика. Душа человека для него стихийна, иррациональна, она неисследима сама по себе, ее глубочайшие корни прорастают в нездешние миры. Там, в этих духовных мирах, в высших реальностях, надо искать объяснений тех или иных душевных проявлений. Душа человека находится в непрестанном общении с духами света и тьмы, с Богом и дьяволом, она в трепете и движении, она ежесекундно колеблется в выборе и потому ее устремления неожиданны, взрывчаты и в плане чисто психическом необъяснимы.

Пребывая в границах предмета, можно его переживать, но нельзя объяснять. Объяснение требует отхода, суждения о предмете со стороны. Душа корнями своими одновременно погружена в духовное и телесное. Исходить к ней от тела, от физиологии, значит обращать ее живую, трепетную сущность в нечто мертвенное, механическое, клеветать на нее, или, во всяком случае, не достигая до ее религиозной сердцевины, грубо ошибаться в своих выводах и заключениях. Так ошибались все писатели и художники душевно-телесного склада. Они неизменно были плохими психологами. Но в том-то и дело, что хорошим психологом быть невозможно.

После перенесенных Достоевским небывалых испытаний, его творческая личность приобщилась «ума Христова», пре-

исполнилась дара разуметь духовное, и это в отличие от человека душевного, который, по слову Апостола Павла, «не принимает того, что от духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно».

Достоевский, конечно, не в качестве греховного существа, — а таковым он был и оставался до самой своей смерти, — но как творческая личность, заново рожденная в таинствах страдания, судил о человеческой душе духовно. Будучи не психологом, а пневматологом, он как бы смотрел на нее из познанного им мира духов света и тьмы, и она попеременно то озарялась для него невыразимым ангельским сиянием, то погружалась в кромешный мрак и вспыхивала бесовским пламенем. Достоевский знал и видел, что «душа человека — арена борьбы Бога и дьявола», и она предстала перед ним, как неотрывная часть, уже не только земного, но вселенского духовного процесса, и потому ее судьбы, как и судьбы любимой им России — пусть смутно, подобно всякому предвидению — раскрывались ему вне времени.

3.

Тютчев, бывший до глубины западно-европейским человеком, изменяя своему салонному славянофильству, признавался подчас в своем полном отчуждении от России и, однажды, в приливе творческой откровенности воскликнул в стихах:

Ах, и не в эту землю я сложил

Все, чем я жил и чем я дорожил!

Перефразируя Тютчева, можно сказать о Достоевском, что лишь в одну российскую землю он сложил все, чем жил и дорожил: все свои надежды, упования, чаяния, веру и любовь.

Он веровал в сверхъестественную христианскую миссию российской нации, верил, что именно в России свершится некогда Второе Пришествие, что по ее земле, заранее для

него благословенной, будет ходить Христос, и уже не символически и не в рабском виде, как сказано у Тютчева, и как ходил Он до сих пор, а наяву, в небесном сиянии и славе. И в минуты религиозного экстаза он призывал нас восторженно припадать к этой земле, целовать эту землю, для него чудодейственную и целительную. Она, через посредство юридической, нищей духом хромоножки, говорит нам о своей тоске по долгожданному Жениху. Эта неизбывная тоска — явленный признак святости. Если вся в целом мать сыра-земля священна, ибо заключает в себе душу мира, Богом любимую, то российская земля удостоена святости, как предусмотренная к принятию Жениха, грядущего в ночи.

Святая Русь воистину свята! Раскольников, возжелавший заменить Вышний Суд, божественную справедливость, собственными произволом и расправой и тем косвенно, но все же пытавшийся оправдать зло, отпадает от солнца в безымянную мертвую глубь своего постылого одиночества. Но в неравном состязании с небом, в краткую минуту просветления, он страдальчески припадает к матери-земле, к русской земле, и этот мгновенный порыв через многие годы каторжных испытаний чудодейственно спасет и вернет его к соборной жизни.

Алеша Карамазов, образ которого до полного завершения Достоевским не доведен, должен был, по дальнейшему замыслу автора, отречься от своего еще незрелого, юношеского христианства, превратиться в великого грешника и в бунтующем своеволии превзойти старшего брата Ивана, внутренне, перед совестью, оправдавшего убийство собственного отца по крови и потому главного виновника свершившегося преступления. Алеша должен был до конца осуществить идею отцеубийства, которая, по твердому убеждению Достоевского, владеет сердцами всех людей вообще, и в особенности русских. Вчерашний послушник старца Зосимы предназначен был покуситься на высший на земле символ отцовства, сделаться убийцей Помазанника Божия, стать цареубийцей. И вот в душе русского человека, знакомого с таким замыслом Достоевского, могла бы померкнуть последняя на-

дежда, но как высший обет, как залог конечного спасения Алеша, а с ним и всероссийского спасения, звучит глава из «Братьев Карамазовых», в которой сегодняшний послушник и завтрашний великий злодей, в восторженном порыве веры и любви, всем существом своим припадает к матери-земле, к русской земле.

Русская земля свята, но русские люди не внимают ее голосу, как не внимал ему сам Достоевский до знаменательной катастрофы, его преобразившей. Русские образованные люди, по Достоевскому, давно утратили веру. Они не верят ни в собственное бессмертие, ни в живую душу родной земли, ни в Бога. Это о людях вообще, но о русских особенно, о русской слепоте и глухоте говорил Тютчев:

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах.

Они отрицают все, кроме самих себя, и в безумии безбожного самоутверждения полагают, что бездушен лик породившей их земли. Пораженные духовной глухотой, они не слышат и поэта:

Не то, что мните вы, природа,
Не слепок, не бездушный лик,
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Но в этом, добавляет поэт, «не их вина». Для Тютчева люди рождены в духовном отношении глухонемыми и потому они не виновны.

Люди напрасно мнят себя существами, доподлинно сознательными и, следовательно, ответственными, в действительности, их автономность от природы, их сознание и свобода — призрачны. Человек по Тютчеву, «мыслящий тростник», но в значении, неизмеримо более страшном и безнадежном, чем для Паскаля. По Тютчеву, человек безвоскресно иссохнет, как опавший древесный лист, бесследно истает, как льдина, плывущая весною по реке в океан. Бессмертна

лишь природа в целом, а человеческие существа, как и льдины, ее призрачные мгновенные порождения:

Все вместе, малые, большие,
Утратив прежний облик свой,
Все безразличны, как стихия,
Сольются с бездной роковой.

Однако между Тютчевым и русскими образованными людьми есть, употребляя слово Пушкина, «разность», и при том величайшая. Тютчев переживал свое неверие трагически, жаждал веры в личное бессмертие и отвращался от самодовольства окружавших его образованных атеистов. Временами же он готов был, ради самоутешения, великодушно приписать собственную скорбь по вере безбожному девятнадцатому веку и в такие минуты упрекал его лишь в нежелании открыто обратиться за помощью к Богу:

Не скажет век с молитвой и тоской,
Как ни скорбит пред запертою дверью:
Впусти меня, я верю, Боже мой,
Прийди на помощь моему неверью.

И все же основа мировосприятия Тютчева неизменно остается пантеистически-языческой. Природа у него — неустанная родительница непрерывно сменяющихся грез. В этом смысле в ней есть любовь, свобода и язык, но они проявляются лишь в общем блаженном потоке существования, а жизнь каких бы то ни было отдельных ее порождений, человека в том числе, мгновенна и призрачна.

После мертвых душ Гоголя и пронизанных демонизмом творений Лермонтова, глубоко русский, трагически безликий пантеизм Тютчева был грозным предвозвестником всероссийского религиозного и государственного крушения.

Творчество Гоголя, Лермонтова и Тютчева по разному отображало в слове тайную духовную болезнь, постигшую душу российской нации. Их творчество намечало конец краткого российского ренессанса, выраженного в слове Державиным, Батюшковым, Жуковским, Пушкиным и Баратынским.

В противовес своему духовному заболеванию, все еще живая глубина российской нации рождает Достоевского. Он был антиподом не только Гоголя и Лермонтова, но в некоторых отношениях и Тютчева.

Гоголевским мертвым душам, мертвым людям он противопоставил души падшие, преступные, бунтующие, но живые, — людей, сотворенных не по подобию неведомых чудищ, а по образу Божию, сохраняющих этот образ даже в низайших своих падениях.

Демоническому презрению Лермонтова к человеку, властному стремлению этого поэта уйти от людского лика, хотя бы растворясь в космическом, «расчеловечиться», если можно так выразиться, наперекор вочеловечившемуся Христу, или предваряя Ницше, преодолеть в себе человеческое и стать сверхчеловеком, Достоевский противопоставил страшную гибель Ставрогина и самоубийственный конец «человека-бога» — Кириллова.

О сходстве Кириллова с поручиком Вуличем, героем лермонтовского «Фаталиста», Достоевский умолчал, зато о родстве загадочного принца Гарри с не менее загадочным потомком таинственного шотландского поэта и пророка он знаменательно обмолвился, заметив, что «злоба в Ставрогине выходила больше, даже против Лермонтова».

Развивая в «Бесах» идею сверх-человека, или иначе человека-бога, Достоевский показал нам, как она неминуемо вульгаризируясь, из подпольного опыта отдельных людей прорастает в план социальный, вызывая при этом всеобщую ужасающую катастрофу.

Тютчевскому растворению, исчезновению человека в безднах природы, Достоевский противопоставил некие, всецело человеческие сферы бытия, расположенные, как бы над природой и по духовным своим возможностям — сверхприродные.

Для Достоевского, вопреки скорбной мысли Тютчева, человек не может сделаться безвозвратной жертвой природы, ибо он надприроден, пневматологичен, его душа глубочайшей своей сущностью обращена к мирам иным, и добро и зло

в нем происхождения беспримесно духовного. Именно в силу этого отношения Достоевского к природе совершенно иное, чем у Тютчева.

4.

Человек надприроден, но незримые нити соединяют его с душою земного мира, преимущественно с душою родимой земли, и родина, по Достоевскому, раскрывается человеку, как символ вечной женственности, как прообраз Матери Божией.

Женственная сущность родины настолько поглощала все творческое внимание Достоевского, что временами он как будто утрачивал непосредственную связь с мужественным началом отечества. Дело отцов, дело государственного созидания, в частности, мужественная мощь Императорской России, воспринимались им, как что-то едва ли не производное, как необходимостью выкованная броня, охраняющая Святую Русь. Казалось, Достоевский забывал, что православие, освятившее древнюю Русь, было принесено извне и привито к русской грубо-языческой душе исключительно благочестивыми усилиями отцов.

Мистическая сторона отцовства постигалась Достоевским только через Помазанника Божия, через идею самодержавия, неотделимую для него от православия. Но, повторяем, что православие и самодержавие, как это ни парадоксально звучит, были для Достоевского чем-то как бы всегда на Руси существовавшим. По пламенной вере своей в мессианство русского народа, он из одной ревности старался забыть о Византии, и о том, что когда-то существовал другой мессианский народ, среди которого родился Христос. Достоевский хотел бы русифицировать даже самого Христа. Такую, на первый взгляд наивную, ревность ко Христу и к истории можно объяснить только эсхатологическим уклоном всего творчества Достоевского, пророческой устремленностью этого гения к концу всех концов.

По Достоевскому, истинный смысл всей истории человечества — борьба Бога и дьявола в душе ветхого Адама.

Предназначение России — стоять в конце всего исторического процесса, на нее свыше возложена миссия устремить человечество к окончательному религиозному решению и тем подвести все итоги. Но такое решение может оказаться положительным или отрицательным. В одном был убежден Достоевский: наша родина — страна апокалипсическая, страна Христа и Антихриста, и явление Того и другого одинаково возможно в России. Перед автором «Бесов» вставало двойственное видение, облеченное и в свет, и в тьму. Но тьма неизменно и угрожающе предшествовала свету. И тогда колебался Достоевский. Недаром сказал он однажды, что его осанна прошла через бездны сомнения и неверия. Тогда померкало для него сияние Святой Руси, ему слышались стоны и жалобы поруганной верховенскими родимой земли, и все шаталось, уходило, проваливалось в довременный мрак. Своим пронзительным умом он понимал, откуда, как и через кого придет всероссийское, всеевропейское и, наконец, всемирное неслыханное испытание.

Достоевский был реалистом во всех планах жизни и бытия. Можно сказать, пользуясь его же выражением, что он очень рано сумел в себе «огорошить Шиллера», преодолеть бледного мечтателя, абстрактного идеалиста. Вот почему ему был отвратителен — то слабонравно-женственный, то сентиментально-фальшивый русский либерал девятнадцатого века, к слову сказать, ничего общего не имеющий с нашим прavitельственным либерализмом времен Екатерины Великой, наредкость зиждательным и плодоносным.

В русском либеральном барстве девятнадцатого века Достоевский различал два основных вида. Один изнеженный, мечтательный, искренно идеалистический, хотя и склонный к эффектным позам и излишнему красноречию. Этот вид вреден тунеядством, слепотою к жизни, неспособностью разбираться в неумолимой действительности и, главное, попустительством, порождающим непоправимое зло. От такого либерала-идеалиста, Степана Трофимовича Верховенского, — комической жизненной помеси Герцена с Грановским — родился его сын Петр, прототип законченного большевика. Но

поразительна по глубине оговорка, сделанная Достоевским: Петр Верховенский не то действительно сын своего либерального отца, не то он родился всего-навсего от жены Степана Трофимовича и какого-то, кстати подвернувшегося, приبلудного полячка. Словом, невозможно в точности определить, каким способом туманный идеализм порождает зло: непосредственно ли из себя, так сказать, закономерно и на брачном ложе, или же только преступным попустительством, презренным слабоволием и жалким слабосилием. Во всяком случае Достоевский ясно видел, что чистый идеализм во всех своих проявлениях, будь то в философии, литературе, науке, или в личной семейной и, наконец государственной жизни, неминуемо приводит ко злу.

Нельзя забывать, что ведь и Петр Верховенский, как многозначительно отмечает Достоевский, был в ранней юности мечтателен, идеалистичен и даже, по какому-то странному суеверию, ежевечерне, отходя ко сну, крестил свою подушку.

Достоевский писал романы, а не философские трактаты, и как истый художник, воплощал свои идеи, но никогда не развивал их прямолинейно и абстрактно. Надо органически врасти в художественную ткань творений Достоевского, чтобы постичь существо его идей, ибо он не философ, а художник мышления, и его творчество представляет собою подлинное искусство мысли. Часто с виду незначительный намек, как бы случайно заброшенный им в складки повествования, освещает изнутри его сложнейший замысел. Так не один Петр Верховенский, но все решительно персонажи Достоевского, предающиеся злу по возмужании, проходят в раннем возрасте хотя бы через краткий период чистого идеализма. Это одинаково характерно не только для Раскольникова, Ставрогина и Ивана Карамазова, но и для Алеши Карамазова, юношеское, незрелое православие которого по существу идеалистично. Он был предназначен, по дальнейшему замыслу Достоевского, стать великим грешником, именно потому, что идеалистическое христианство усиленно располагает человека к одержимости. Истинное христианство,

как высшая реальность, несовместимо с призрачным идеализмом. Оно пребывает в жизни живой и от нее неотделимо. Идеалистическое христианство лицемерно подменяет любовь к ближнему несуществующей реально любовью к дальнему, от смирения переходит к бунту и от личного жертвенного подвига во имя живого человека к революционным действиям во имя абстрактного человечества. Так разоблачил Достоевский величайшее зло в том, что в течение полутора лет принималось и еще принимается всеми за возвышенное благо.

Второй вид русского либерализма девятнадцатого века, выделенный Достоевским, как действительно злокачественный, не имеет сам по себе ничего общего с идеализмом. Он состоял из людей честолюбивых, рассудительных, делающих карьеру во всех областях общественной и государственной жизни. Иные из этих либералов-практиков, назовем их так в отличие от либералов-идеалистов, обладали изощренным чутьем и способностью трезво взвешивать события. Сообразуя свое поведение с модными идеалами, они умели из всего вывести дальновидные умозаключения.

Постоянный заграничный житель, редкий, хотя и желанный гость на родине, знаменитый писатель Кармазинов, был великолепным представителем барственного либерализма второго вида. Все то страшное, что осуществилось и осуществляется на наших глазах, и что за много лет предвидел Достоевский, но о чем по соображениям формально-художественным, не мог говорить от себя, он предоставил высказать циничному и злому языку Кармазинова. Выбор такого посредника, такого порт-пароль, был гениально глубок. Кому же, как не либералу-практику, ведать и чутьем и умом, о том, что возникнет в действительности в ближайшем и отдаленном будущем из попустительства и из ходких идей, ищущих своего воплощения. Либерал-практик знает также, с кем и о чем говорить и перед кем заранее заискивать: свои пророческие мысли Кармазинов высказывает Петру Верховенскому, как хозяину в скором будущем и России и Европы. Разговор происходит в тиши и уюте барского дома, за утренним завтраком. И подумать только, что все это писалось

Достоевским восемьдесят пять лет тому назад, в патриархальных условиях российской и европейской жизни. Но предоставим слово Кармазинову.

«В русском барстве есть нечто, чрезвычайно быстро изнашивающееся во всех отношениях. Но я хочу износиться, как можно позже и теперь перебираюсь за границу совсем; там и климат лучше, и строение каменное, и все крепче. На мой век Европы хватит, я думаю. Как вы думаете?

— Я почему знаю.

— Гм... гм... если там действительно рухнет Вавилон и падение его будет великое (в чем я с вами согласен, хотя и думаю, что на мой век его хватит), то у нас в России и рушиться нечему, сравнительно говоря. Упадут у нас не камни, а все расплывется в грязь. Святая Русь менее всего на свете может дать отпор чему-нибудь. Простой народ еще держится кое-как русским Богом; но русский Бог, по последним сведениям, весьма неблагонадежен и даже против крестьянской реформы едва устоял, по крайней мере, сильно покачнулся. А тут железные дороги, а тут вы... уж в русского-то Бога я совсем не верую.

— А в европейского?

— Я ни в какого не верю. Меня оклеветали перед русской молодежью. Я всегда сочувствовал каждому движению ее. Мне показывали эти здешние прокламации. На них смотрят с негодованием, потому что всех пугает форма, но все, однако, уверены в их могуществе, хотя бы и не сознавая того. Все давно падают и все давно знают, что не за что ухватиться. Я уже потому убежден в успехе этой таинственной пропаганды, что Россия есть теперь, по преимуществу, то место в целом мире, где все, что угодно, может произойти без малейшего отпора. Я понимаю слишком хорошо, почему русские с сотоянием все хлынули за границу и с каждым годом все больше и больше. Тут инстинкт. Если кораблю потонуть, то крысы первые из него выселяются. Святая Русь страна деревянная, нищая, и... опасная, страна тщеславных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живет в избушках на курьих ножках. Она обрадуется вся-

кому выходу, стоит только растолковать. Одно правительство еще хочет сопротивляться, но машет дубиной в темноте и бьет по своим. Тут все обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущности. Я сделался немцем и вменяю это себе в честь.

— Нет, вы вот начали о прокламациях; скажите все, как вы на них смотрите?

— Их все боятся, стало быть они могущественны. Они открыто изобличают обман и доказывают, что у нас не за что ухватиться и не на что опереться. Они говорят громко, когда все молчат. В них всего победительнее (несмотря на форму) это неслыханная до сих пор смелость засматривать прямо в лицо истине. Эта способность смотреть истине прямо в лицо принадлежит одному только русскому поколению. Нет, в Европе еще не так смелы; там царство каменное, там еще есть на чем опереться. Сколько я вижу и сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести. Мне нравится, что это так смело и безбоязненно выражено. Нет, в Европе еще этого не поймут, а у нас именно на это-то и набросятся. Русскому человеку честь одно только лишнее бремя. Да и всегда была бременем, во всю его историю. Открытым правом на бесчестье его скорей всего увлечь можно. Я поколения старого и, признаюсь, еще стою за честь, но ведь только по привычке. Мне лишь нравятся старые формы, положим, по малодушию; нужно же как-нибудь дожить век».

5.

Либерал-практик и либерал-идеалист, при всех существенных различиях, все же друг на друга похожи кое в чем немаловажном. Их сближает непреодолимая склонность к самовлюбленным позам и эффектным фразам. В этом отношении Кармазинов и Степан Трофимович Верховенский, при встрече в губернаторском салоне, оказываются стоящими на равной высоте, и кокетливые ссылки знаменитого писателя, новоявленного немца, на дорогие его сердцу судьбы водопро-

вода города Карлсруэ с успехом соперничают с афоризмами Паскаля, картинно двинутыми в бой передовым профессором. Идеалист и практик, оба, целых тридцать лет просто-яли «перед отчизной воплощенной укоризной». Благодаря такому почтенному положению, добровольно принятому в пространстве, либерал-практик удосужился познать свое отечество только с самой подлой и низкой стороны, а либерал-идеалист навсегда остался в полном неведении российской действительности. Циничное знание, равно как и полное неведение, понуждают идеалиста и практика старшиться России. Практик стремится с перепугу переселиться за границу совсем, а менее предприимчивому идеалисту, в его боязливом оцепенении все слышится непрошенная песенка: «Идут мужики, несут топоры, что-то страшное будет».

Однако, согласно Достоевскому, идеалист не исчерпывается одними позами и фразами, да заячьими страхами, пути к духовному спасению для него еще не все заказаны. Он способен, хотя бы перед смертью, отказаться от своего наигранного безбожия, стряхнуть с себя революционный прах и неожиданно обрести истинную веру. Изобличенный жизнью и собственной совестью в духовной несостоятельности, он может, подобно королю Лиру, решиться на уход. Внезапно объятый, как пушкинский странник, «скорбью великой», он может, предваряя бегство Толстого от самого себя, миновать «городовое поле» и очутиться одному на большой дороге:

Дабы скорей узреть, оставя те места,
Спасенья узкий путь и тесные врата.

Дабы получить из рук простонародной книгоноши давно им забытое Евангелие и умереть христианином.

Вообще, в высшей степени знаменательна для нас эта тема ухода, пересаженная с чужбины в русскую литературу Пушкиным, от него перешедшая к Достоевскому, Гончарову, Тургеневу, затем, пусть в безмерно сниженном, пародийном виде, попавшая к Чехову и, наконец, доставшаяся Толстому, разыгравшему ее хоть и не совсем по-христиански, но, зато

бытийственно и на самом себе. Недаром и не случайно пытался Толстой художественно воссоздать сложенную на этот раз самими россиянами легенду об императоре Александре Первом, скрывшемся в жизненном лесу, ушедшим в странствование под именем Федора Кузьмича. Конечно, эта легенда притягивала к себе Толстого, прежде всего, потому, что уже назревала в нем тогда возможность собственного ухода, но он смутно чувствовал также ее громадное всероссийское значение.

У каждой легенды имеется всегда свое глубочайшее реальное основание. Легенда есть метафизическая быль. Уходил ли Император, или нет, мы не знаем и, вероятнее всего, никогда не узнаем этого. Но причина, по которой он мог бы уйти, существовала действительно. Названный Благословенным за свое мудрое, блистательное царствование, Александр Первый нес в душе незамолимый грех. Будучи Наследником престола, он, зная о готовившемся покушении на жизнь царя, своего отца по крови, не только не предотвратил ужасной развязки, но и принял корону из рук цареубийц, убийц своего родителя. Мучило ли раскаяние Александра Первого, толкнула ли его совесть на уход, нам неизвестно. Но легенда о Федоре Кузьмиче должна была неизбежно возникнуть. Сказанием о смиренном царственном страннике российская нация пыталась искупить вину своего Императора, силилась пережить и изжить за него и вместе с ним его черный, типично русский грех.

Сознательное и потому духовное зло — «пир злоумышления», по определению Баратынского, внешне, по-видимости, блистает разнообразием брашен, но каждый из нас, от них отведав, знает, что «вкус один во всех», что все это лже-разнообразие преступлений в итоге сводится к одному: к похищению чужих ценностей, к присвоению духовных прерогатив и прав и материальных благ, другим принадлежащих. Самое же похищение возникает, как следствие бунта, организованного в духе. Оно не только всегда связано с насилием, но подчас и с оправданием насилия, лицемерно основанным на необходимости своевольно восстановить, якобы,

нарушенную Богом и людьми справедливость. Из такого оправдания зла, возведенного в систему, вырастает революция. Она и есть окончательное следствие греха с его разнообразием кровавых брашен. Ее истоки демоничны. Стремясь основаться на автономной от неба разрушительной человеческой справедливости, она подменяет истинную веру в Бога религией навыворот и, порождая ложь, клевету и насилие, обнаруживает свою прямую связь с духом небытия.

Чтобы порвать круговую поруку духовного бунта, надо, как говорил Пушкин, «оставить те места» — покинуть человеческий быт во имя Богом нам данного бытия, надо в поисках «тесных врат» «перебежать городовое поле» и, подобно внезапно сраженному совестью императору или хотя бы вчерашнему либералу-идеалисту, лишь слегка поигравшему в революцию, очутиться нищим странником на большой дороге.

Именно так понимали наши творческие люди, и в их числе Достоевский, тайный смысл ухода.

Теперь же, когда свободные странствования пешком по всем проезжим дорогам воспрещены законом, революционным произволом и жестокими обстоятельствами жизни, мы познали на себе иную милость Неба, даровавшего нам взамен уходов, во искупление духовного бунта, долголетнее изгнание с многодумным проживанием по закаулкам европейских городов, а на родине расстрелы, тюрьмы и ссылки. И вот, молясь и проклиная, под покровом непроглядного европейского мрака, по сибирским лагерям и норах, нам остается на выбор внимать или не внимать, верить или не верить словам поэта о лучшем и вековечном будущем ныне каторжной России, о будущем, быть может и возможном, но во всяком случае весьма отдаленном:

Россия тридцать лет живет в тюрьме,
На Соловках или на Колыме.
И лишь на Колыме и Соловках,
Россия та, что будет жить в веках.

(Георгий Иванов)

Константин Леонтьев верил не в почвенные, нутряные силы русского или какого-либо другого народа, для него просто не существовавшие, но в идею вселенского православия и имперского созидания, насаждаемую и внедряемую в русские сердца извне и сверху. Окончательно ли порвало наше отечество с этой создававшей его идеей? Неведомо! Но с безудержной разбойной наглостью, отрекшись от нее во имя серого бездарного февраля и кровавого октября, оно попало на невиданную и неслыханную каторгу. И в этом кроется для нас последняя, еще не совсем померкшая надежда. Ведь не все же с такой иступленной настойчивостью проповедывал Достоевский спасительное для нас значение заточения и ссылки! Свой личный каторжный опыт он с непонятным в те годы упорством стремился обобщить, возвести его в целительную всероссийскую необходимость. Под непосредственной угрозой расстрела, а потом в сибирской каторге и ссылке, исцелился Достоевский от своей революционной, глубоко русской одержимости. В предвидении России одержимой, плененной бесами революции, он призывал на нас переплавляющую души поголовную каторгу. Она пришла. Может быть, придет и спасение. Там, в тундрах и тайге, в звериных норах, в подземных казематах у Ледовитого океана, созревает ли новая, неизвестная, религиозная российская элита? На этот безрассудный безумный вопрос Достоевский ответил бы: — да!